

Вячеслав Поздеев

## Функция еды в романе И. С. Шмелёва *Лето Господне* (восприятие детским сознанием)

Пищевой код как культурный феномен может быть рассмотрен в разных аспектах, в том числе с историко-культурной и этнической точки зрения. Одним из источников для реконструкций гастрономических предпочтений, традиций, стереотипов характерных для той или иной эпохи, социально-профессиональных групп и даже индивидов являются художественные тексты.

Как известно, русская культура XIX – начала XX вв. многослойна, наряду с книжной (литературной, дворянской) и фольклорной (устной, народной) выделяется и пограничная – „третья культура“ (культура городская, мещанская, слободская). Важным источником изучения взаимодействия пограничных слоев культуры являются литературные произведения, в которых показаны различные слои общества с их бытовыми, этическими, эстетическими нормами и стереотипами. Социокультурные аспекты формирования городских сословий были многообразны, и в них большую роль играли субкультурные составляющие (культура корпоративных сообществ: купцов, ремесленников, рабочих, городских мещан, нищих и т. п.). Такое культурно-психологическое обособление с одной стороны актуализировало оппозицию „свое/чужое“, а с другой – давало возможность перенимать культурные элементы из более „высоких“ слоев городского социума. Это проявлялось не только в манерах, одежде, в стремлении к „образованности“, но и в гастрономических предпочтениях.

Купечество имело особый уклад жизни и поведения, свои сложившиеся социально-культурные традиции. Устойчивость, консерватизм его бытовых норм не поколебали даже петровские реформы, что особенно ярко проявилось в старомосковском бытовом укладе. И. С. Шмелёв – выходец из городской среды, из семьи московско-

го подрядчика, хорошо знал и сохранял особенности этой среды. Детские и юношеские годы будущий писатель провел в Москве, где были сильны традиции русской „старины“. На становление художественного сознания И. С. Шмелёва большое влияние оказали глубоко религиозная среда отеческого дома, общение с людьми различных сословий, профессий, городской фольклор, чтение религиозных книг. В творчестве И. С. Шмелёва, в его художественном сознании органично соединились различные слои культуры: глубинная культура народа, высокая религиозность, традиция книжной культуры древней и „новой“ России (воспринятая уже в гимназии и в университете). В итоге у будущего писателя формируется своеобразный взгляд на мир как некий „сплав“ патриархально-религиозного и городского, определяется тип художественного сознания, характерный для многих художников этой эпохи. Именно понятие „тип художественного сознания“ является в современном литературоведении наиболее репрезентативным, которое все больше вытесняет понятие „художественный метод“.

В повестях и рассказах И. С. Шмелёва городская жизнь и быт, традиции и культура купечества, ремесленников, мещанства носит далеко не однозначный характер, а раскрывает всю сложность реальных человеческих взаимоотношений. Писатель показывает определённый социальный слой – московское купеческое сословие, хотя в повести есть и другие персонажи, представляющие разные социальные типы городского населения. В своих ВОСПОМИНАНИЯХ И. С. Шмелёв пишет:

Ранние годы дали мне много впечатлений. Получил я их „на дворе“ [...]. Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. [...] Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелеты – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти „мастаки и архимеды“, как называл их отец. Эти „архимеды и мастаки“ пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая

прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. [...] Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурства. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. „И-эх и темы-най лес... да эх и темы-на-ай...“ [...] Многое повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я получил первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли делать такие, как я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали дух захватывающие сказки... (Шмелёв 1973, 142–143)

Как далее вспоминает И. С. Шмелёв, он слышал много слов, которые открыли ему „много неопределенных чувствований и опыта“. Двор, как он упоминает ранее, для него стал „первой школой жизни – самой важной и мудрой“ (там же).

Традиционное реалистическое понимание социальной среды, духовных начал, их воздействие на личность также приобретает достаточно противоречивый характер. Изображая героя из городских сословий, И. С. Шмелёв искал пути преобразования человеческой личности, природы человека, его взаимосвязи с миром, религией и Богом.

На наш взгляд, наиболее интересно жизни в городе даётся сквозь

призму детского сознания в повести И. С. Шмелёва *Лето Господне* (как и в повести *Богомолье*). Герой повести постигает «внешний мир», приобщаясь к религиозно-бытовым традициям, и через них к христианским идеям. Однако не стоит забывать, что первую часть И. С. Шмелёв пишет с декабря 1927 по декабрь 1931 года, когда ему было уже 54 года (издана в Белграде в 1933). Закончил вторую – *„Радости“* и третью – *„Скорби“* в феврале 1944. Полностью повесть вышла в Париже в 1948.

Функциональная значимость пищевого кода (как одного из составляющих предметного мира) в книгах И. С. Шмелёва имеет, на наш взгляд, пять основных аспектов.

Во-первых, пищевой код помогает писателю показать духовное становление героя.

Во-вторых, показать богатый вещный мир „ушедшей России, хлебосольной Москвы детства писателя“.

В-третьих, показать, что еда – один из общих элементов русских народных и христианских праздников.

В-четвертых, показать, что застольные традиции в Москве имели социально-культурное разнообразие.

В-пятых, Шмелёв хотел подчеркнуть, в том числе и пищевым кодом, русскую культурную идентичность, которую уже начали терять некоторые слои эмигрантов (особенно после Второй мировой войны).

Итак, рассмотрим, как пищевой код помогает писателю показать духовное становление маленького человека. И. С. Шмелёв описывает опыт обретения маленьким героем его гармонического отношения человека с миром. Изображает те эмоции, которые испытывает на разных стадиях этого приобщения Ваня. Раскрытие внутреннего мира маленького героя, в свою очередь, отражает самую суть череды персонажей, с которыми он общается в быту и во время праздников.

Как писал В. В. Зеньковский:

Мы все были детьми, мы всегда окружены детьми. Воспоминания из собственного детства, непосредственное восприятие детей, нас окружающих, – все это, конечно, вводит нас в душевную жизнь ребенка, но не настолько, чтобы мы могли

разобраться в особенностях детства. Мы почти всегда грешим упрощением загадки детства – как раз потому, что слишком много имеем дела с детьми: нам часто кажется, что мы вполне понимаем душу ребенка – в то время как в действительности мы очень плохо разбираемся в ней. (Зеньковский, 1996. 24)

И. С. Шмелёв сохранил в памяти самое ценное: нюансы детского восприятия различных бытовых событий, праздников, людей. На уровне пищевого кода писатель в подробных деталях: с цветом, запахом, вкусом и даже со звуком описывает различные продукты русского обыденного и праздничного стола.

Писатель показывает, не только как меняется душевное состояние маленького героя от события к событию, но как меняются пищевые пристрастия. Начинается повесть восприятием Великого поста, когда маленький герой „переживает“ переход от обильной Масляной недели к ограничению во всем: в поведении, одежде, пище.

От масленицы нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками, – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно! (Шмелёв 1991, 259)

Так через осмысление скоромной и постной еды у Вани возникает религиозно-философский вопрос, пока только о греховности оскоромиться во время поста. Для детского сознания еда, какая бы она ни была – „все вкусно“. Он еще не совсем понимает, что греховность заключается и в том, что еда может стоять в ряду с другими соблазнами. Дальше фантазии ребенка явно уводят его в мир постных гастрономических предпочтений.

Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, „кресты“ на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то „коливо“! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая „рязань“... а грешники, с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри! Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного... (Шмелёв 1991, 259)

Детское сознание как бы „выхватывает“ из восприятия окружающего мира и потока собственных мыслей некоторые детали, которые ассоциативно связаны как с пищевым кодом ситуации (идет пост), так и с теми нравственными понятиями, которые уже сформировались у мальчика.

Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, – и падаю на колени, в страхе. (Шмелёв 1991, 269)

И. С. Шмелёв шаг за шагом проводит своего героя через разные гастрономические „соблазны“. Вместе с более существенными

нравственно-духовными нормами, высказываемыми Горкиным, отцом и другими персонажами, эти пищевые традиции формируют нравственное сознание мальчика.

Так, когда начинается пост, и герой прыгает от радости, что поедет на „постный рынок“, ему говорят, что он сломает ноги, ему „делается страшно. Я смотрю на Распятие“ (Шмелёв 1991, 259)

Ваню на постном рынке восхищает множество народа и богатство продуктов: горох, сушеные грибы, огурцы, капуста, морковь, яблоки, солёные арбузы, разные ягоды, грибы; напитки: квас, сбитень, мёд и баранки и еще много других продуктов. Шмелёв в традициях русских писателей изображает русский рынок. Он всегда цветной: красный, розовый, желтый, синий; весь пропитан запахами: „кислый и вонкий дух“ капусты, свежий, хренный, укропный дух огурцов; пахнет „церковно воском“ и медом. Рынок наполнен разными звуками: продавцы „пощелкивают сушкой, потрескивают связки“, покупатели торгуются. От всего этого у Вани, которого несет на плечах Антон, „кружится голова от гула“. В этом гуле толпы мальчик слышит разные названия городов России, местные названия лесных даров, продуктов что соединяет пищевой код с кодом пространственным. В этом можно видеть не только объединяющее начало просторов государства, но и противопоставление „своего“ (местного) и „чужого“. Сквозь призму „чужого“ Ваня видит своё „милое Замоскворечье“.

Еда у И. С. Шмелёва становится маркером именно в тот момент, когда возникает ситуативная задача идентификации „своего“ (детского, семейного, купеческого) и „чужого“ (наемных рабочих, приглашенных, нищих).

С одной стороны Шмелёв стремится показать, что еда – один из общих элементов русских народных и христианских праздников. Однако писатель и его маленький герой уже понимает, что застольные традиции в Москве имели социально-культурное разнообразие. Мы видим это в главах „Пасха“ и „Рождество“.

Входит во двор отец. Кричит:

– Христос воскрес, братцы! С праздником! Христосоваться там будем.

Валят толпой к навесу. Отец садится под „траспарат“. Рядом Горкин и Василь Василич. Я с другой стороны отца, как молодой хозяин. (Шмелёв 1991, 310)

Маленький Ваня чувствует себя „молодым хозяином“. Шмелёв недаром подчеркивает слово „хозяин“ и затем описывает, как едят работники. Существовал обычай нанимать работников, оценивая их в процессе еды. Если ел мало и быстро, то работник никакой, а если – много и неспешно, то справный работник.

Весело глазам: все пестро. Куличи и пасхи в розочках, без конца. Крашенные яички, разные, тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина, с красными. Христосуются долго-долго. Потом едят. Долго едят и чинно. Отец уходит. Уходит и Василь Василич, уходит Горкин. А они все едят. Обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек: все съедено. Земли не видно, – все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники, с черными сундучками с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах. Привезенный на тачках ситный, великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить. Привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики. Просят еще добавить. Съеден молочный пшеник, в больших корчагах. Пильщики просят каши. И – каши нет. И последнее блюдо студня, черный великий противень, – нет его. Пильщики говорят: бу-дя! И розговины кончаются. Слышится храп на стружках. Сидят на бревнах, на штабелях. [...] (Шмелёв 1991, 310)

Шмелёв показывает социальную дифференциацию в традиции приглашения гостей, в стереотипах „обеденных“ церемоний. Совершенно по-разному ведут себя и едят работники, которые имеют приличное содержание от хозяина, и по-другому те, кто влачит жалкое существование, а именно, городская беднота, нищие. Особенно это ярко показано в главе „Обед „для разных““. Как пишет Шмелёв, „разные – „потерявшие себя“ люди, а были когда-то настоящие“: Пискун, Полугариха, солдат Махоров, Выхухоль, пев-

чий-обжора Ломшаков, знаменитый Солодовкин, который ставит нам скворцов и соловьев, звонарь от Казанской, Пашенька-блажененькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, у которой сын мошенник, хромой старичок-цирюльник Костя, Трифоньч Юрцов, который вылечил когда-то дедушку, „барин“ Энтальцев.

Им „накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубую, рождественскую, скатерть, и посуду ставят тоже парадную, с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Ни икры, ни сардинок, ни семги, ни золотого сига копченого, а просто: толстая колбаса с языком, толстая копченая, селедки с луком, соленые снеточки, кильки и пироги длинные, с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и бутылка шато-икема, для знаменитого нашего плотника – „филейщика“ – Михаил Панкратыча Горкина, который только в праздники „принимает“, как и отец, и для женского пола“ (Шмелёв 1991, 353).

Совершенно иной прием духовенства на Масленицу:

Стол огромный. Чего только нет на нем! Рыбы, рыбы... икорницы в хрустале, во льду, сига в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница, с зелеными глазами огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которой торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на конфорках, графинчики, бутылки... Черные сюртуки, белые и палевые шали, „головки“, кружевные наколочки...

Несут блины, под покровом...

– Ваше преосвященство!..

Архиерей сухощавый, строгий, – как говорится, постный. Кушает мало, скромно. Протодиакон – против него, громаден, страшен. Я вижу с уголка, как раскрывается его рот до зева, и наваленные блины, серые от икры текучей, льются в протодиакона стопами. Плышет к нему сиг, и отплывает с разрытым боком. Льется масло в икру, в сметану. Льется по редкой бородке протодиакона, по мягким губам, малиновым.

– Ваше преосвященство... а расстегайчика-то к ушице!..

– Ах, мы, чревоугодники... Воистину, удивительный растегай!.. – слышится в тишине, как шелест, с померкших губ...

[...] Блины с припеком. За ними заливное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с грибами, с кашей... наважка семивершковая, с белозерским счетком в сухариках, политая грибной сметанкой... блины молочные, легкие, блинцы с яичками... еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой... желе апельсиновое, пломбир миндальный — ванилевый...

Архиерей отъехал, выкушав чашку чая с апельсинчиком – „для осадки“. Отвезли протодиакона, набравшего растегайчиков в карманы, навязали ему в кулек диковинной наваги, – „зверь-навага!“ (Шмелёв 1991, 381–382)

Однако самая важная функция пищевого кода в повести *Лето Господне* – это показать духовное становление маленького человека в семье.

В третьей части книги Шмелёв показывает болезнь и смерть отца Вани. Все описания разносолов уходят на задний план. Еда как одна из мирских слабостей не привлекает писателя. Все его воспоминания сосредоточены на тех мыслях, страхах, переживаниях, которые врезались в детскую память. Однако, в русской обрядовой традиции, в похоронных и поминальных обрядах еда имеет свое ритуальное значение. В главе „Соборование“ мы видим, как сталкивается повседневный мир взрослых (в частности священников), которые уже привыкли к человеческим страданиям и не отказывают себе в еде, с миром детским, который до этого был безоблачным, счастливым, защищенным, но предчувствие трагедии заставляет отказываться от еды.

Кашин берет меня и сестру за руку, манит сестриц и Колю и ведет к закусочному столу.

– Не ели, чай, ничего, галчата... ешьте. Вот, икорки возьми, колбаски... Ничего, как-нибудь проживем, Бог даст.

Мы не хотим есть. Но батюшки велят, а протодиакон накладывает нам на тарелочки всего. Хрипит: „Ешьте, малыцы, без никаких!“ – и от этого ласкового хрипа мы больше плачем. Он за-

пускает руку в глубокий карман, шарится там и подает мне... большую, всю в кружевцах, – я знаю! – „свадебную“ конфетину! Потом опять запускает – и дает всем по такой же нарядной конфетине, – со свадьбы?...

Все начинают закусывать вместе с ними. Дядя Егор распоряжается „за хозяина“. Наливает мадерцы-икемчику. Протодиакон сам наливает себе „большую протодиаконovu“. Пьют за здоровье папашеньки. Мы жуем, падают слезы на закуску. Все на нас смотрят и жалеют. Говорят – вздыхают:

– Вот она, жизнь-то человеческая!... „яко трава...“ (Шмелёв 1991, 611–612)

Когда же случается самое страшное для Вани – смерть отца, то Шмелёв опять вспоминает не только состояние самого мальчика, но и реакцию окружающих. Шмелёв допускает маленькие штрихи, связанные с повседневным бытом и в частности с едой. Белошвейка просит „кусочек пощиколатней“, „проглатывает оставшийся кусок пирога“, чтобы быстрее выполнить работу. Это неприятно видеть Ване. После такого обычного для белошвейки дела, Ваня вдруг вспоминает, что Горкин сказал еще давно – о душе, которая остается три дня с живыми. Эти мысли прерываются видениями мальчика. И такое пограничное состояние у ребенка сохраняется до конца повести.

В главе „Похороны“ мальчик видит, как начинает рушиться мир, выстроенный отцом. Детские горести взрослые хотят сгладить некими заботами о том, чтобы они были сыты, угощают сладостями. Горкин – и тот не ведет утешительные речи, говорит:

– Заслаб ты, косатик, изгоревался... – говорит он мне, размазывая пальцем слезы, – на вот, поешь курятинки...

Приходит Анна Ивановна [...]

– С тобой посижу, милюнчик. Бульонцу тебе и миндального молочка с сухариком, доктор кушать велит.

Я рад, что Анна Ивановна со мной. Она с ложечки меня кормит, будто Катюшу нашу.

– Упал у гробика вчерась, всех напугал. Даже крестный твой затревожился, сам ягодки твои с полу собрал. Все даже по-

дивились. Никого не жалел... а вот, пожалел. На-ка, съешь одну ягодку. Да-а... не ягоды... финички. Крестный подарил... Все говорят, гостинчика тебе привез, сам. Финички сладкие, как сахар, слаже. Я даю Анне Ивановне, и всем... А никто не хочет, все говорят: „Это в утешеньице тебе, сам кушай“. (Шмелёв 1991, 628)

Но и в этой трагической для детской души ситуации взрослый мир связан с поминальной едой и мальчик невольно подчиняется этому ритуалу. И Шмелёв не отступает от русских купеческих традиций. Даже в организации похорон чувствуется размах и стремление сделать лучше, чем у других.

Она меня одевает, закутывает в одеяльчико и несет. Я слаб, ноги меня не держат. Зала наша... – она совсем другая! будто обед парадный, гости сейчас приедут. Длинные-длинные столы... с красивыми новыми тарелками, с закусками, стаканами, графинами, стаканчиками и рюмками, всех цветов... – так и блестит все новым. Фирсанов, в парадном сюртуке, официанты, во фраках, устраивают «горку» для закусок... – ну будто все это – как в прошлом году на именинах. И пахнет именинами, чем-то таким приятным, сладким... цветами пахнет!.. кажется мне, – цветами. А нет цветов. Но я так тонко слышу... гиацинты!.. как на Пасхе!.. (Шмелёв 1991, 629)

Я оглядываюсь – и вижу: это официант откупоривает бутылки, ланинскую. Под иконой „Всех Праздников“ — низенький столик, под белоснежной скатертью, на нем большие сияющие подносы, уставленные хрустальными стаканчиками. Сам Фирсанов разливает фруктовую ланинскую. Разноцветные все теперь стаканчики, — золотистые, оранжевые, малиновые, темного вина... – все в жемчужных пузырьчиках... Слышно, как шепчутся, от газа. Это что же? почему теперь такое?.. будто под Новый год.

– А это, сударь, тризна называется... – говорит Фирсанов. – Это для красоты так, загодя... невеселей поминающим,

а потом и еще наполним, в нос будет ударять-с!.. а это для красоты глазам, зараньше. Три-зна. За упокой души новопреставленного будут испивать тризну, поминать впоследствии. Спокон веку положено, чтобы тризна. Батюшка благословит-освятит, поело поминовенного обеда, после блинков, как „вечную память“ о. протодиакон возгласит. (Шмелёв 1991, 630)

Жизнь и смерть становится единым циклическим течением, воплощенным в традициях ритуального стола. В этом проявление онтологического начала ритуальной трапезы, но и повседневной еды.

В повести И. С. Шмелёва можно говорить о разных функциях пищевого кода – от масштаба одной частной жизни маленького мальчика (в купеческой семье конца XIX в.) и через социально-культурные пищевые стратегии до масштабов всей России. Пища выступает и как объект описания, вещного мира, и как собственно микроидентификатор социальных групп, и как система идентификации национальных личностных ценностей.

## Литература

Зеньковский (1996), Василий: Психология детства. Москва.

Шмелёв (1991), Иван: *Лето Господне*. Москва.

Шмелёв (1973), Иван: *Воспоминания*. В: *Вопросы литературы*, 1973/4, 142–143.